

ВИКТОРИЯ КАЗИМИРОВНА.

Рассказ.

В Америке я не бывал, и о ней, прямо скажу, ничего не знаю.

А вот из иностранных держав про Польшу знаю. И даже могу ее разоблачить.

В германскую войну я три года ходил по польской земле... И нет! Не люблю я полячишек.

В натуре у них, знаю, всякие хитрости.

Скажем: баба.

Ихняя баба в руку целует.

Только взойдешь в халупу:

— Ниц нема, пан.

И сама, стерва, в руку

Русскому человеку это невозможно.

Мужик ихний безусловно хитрая нация. Ходит за- всегда чисто, бороденка бритая, денежку копит. Нация их и теперь выясняется. Скажем: Верхняя Силезия...

Зачем, пожалуйста, полячку Верхняя Силезия? Зачем же издеваться над германской нацией?

Ну, хорошо — живи отдельной державой, имей свою денежную единицу, а к чему же еще такое несбыточное требование?

Нет, не люблю я полячишек.

А вот поди-ж ты: встретил польскую паненку, и такая у меня к Польше симпатия пошла, лучше, думаю, этого народа и не бывает.

Да только ошибся.

Нашло на мене, прямо скажу, такое чудо, такой туман,—что она прелестная красавица ни скажет, то я и делаю.

Убить человека я, скажем, не согласен—рука дрогнет. А тут убил и еще другого, престарелого мельника убил, хоть и не своей рукой, да только путем своей личной хитрости.

А сам, подумать грустно, ходил около полячки легкомысленно, женишком прямо, бороденку даже подстриг и в подлую ее ручку целовал...

Было такое польское местечко Крево.

На одном конце—пригорок—немцы окончились, на другом—обратно пригорок—мы окопчики взрыли, и польское это местечко осталось лежать между окопчиками в овраге.

Польские жители, конечно, уволились, а которые хозяева и которым, как бы сказать, добринско покинуть грустно—остались.

И как они там существовали—подумать странно. Пуля так и свистит, так и свистит над ними, а они ничего, живут себе.

Ходили мы к ним в гости.

Бывало в разведку либо в секрет, а уж по дороге безусловно в польскую халупу.

К мельнику все больше ходили.

Мельник такой существовал престарелый.

Баба его сказывала: имеет, говорит, он деньжонки—капиталом, да только не говорит где.

Будто обещал сказать перед смертью, а пока чего-й-то пугается и скрывает.

А мельник это точно скрывал свои деньжонки.

В задушевной беседе он мне все и высказал.

Высказал, что желает перед смертью пожить в полное семейное удовольствие.

— Пусть,—говорит,—они меня такого-то малехонько побалуют, а то скажи им где деньжонки—оберут как липку и бросят за свои любезные, даром что свои родные родственники.

Мельника этого я понимал и даже ему сочувствовал. Да только какое там, сочувствовал, полное семейное удовольствие, если болезнь у него жаба и ноготь, заметил я; сиций.

А старичка они баловали.

Старик кобенится и финтит, а они так во взор ему и смотрят, так перед ним и трепещут, пугаются, что не скажет про деньги.

А была у мельника семья: баба его староватенькая, да неродная дочка, прелестная красавица и паненка Виктория Казимировна.

Я вот рассказывал великосветскую историю про старого князя вашего сиятельства—все воистинная есть правда и босячки крохоборы, и что били они меня инструментом, да только не было в тот раз прекрасной полячки Виктории Казимировны... И быть ее не могло. Была она в другой раз и по другому делу

А это уж я так, извините, худого мужика—солжил.

Была она Виктория Казимировна дочка престарелого мельника.

К ней-то в гости мы и ходили.

И как это вышло?

С первых даже дней занялись у нас отношения.

Помню, раз пришли к мельнику

Сидим, кихикаем, а Виктория Казимировна из всех меня отмечает, ко мне ластится: то, знаете ли плечиком, то ножкой.

— Фу ты,—восхищаюсь,—так твою так—прелестный случай.

А сам все-таки пока остерегаюсь, отхожу от ней и отмалчиваюсь.

Только полпозже берет она меня за руку, любитесь мной.

— Я,—говорит,—господин Синебрюхов, могу даже вас полюбить (так и сказала). И имею уже что-то в своей груди, даром что вы не прекрасный юноша.

— Только, говорит, есть у меня до вас просьбишка. Спасите, говорит, мене для ради Бога. Желаю я уйти из дому в город Минск, или еще в какой-нибудь там польский город, потому что, сами видите, погибаю я здесь курам на смех. Отец мой, престарелый мельник, имеет капитал, так нужно выпытать, где хранит его. Нужно мне разжиться деньгами. Я, говорит, против отца не злоупотребляю, но не сегодня завтра он померет по случаю болезни жабы и пугаюсь, что про капитал не скажет.

Начал я тут удивляться, а она прямо таки вскрикивает, смотрит в мои очи, любитесь.

— Ах, говорит,—Назар Ильич, господин Синебрюхов, вы самый здесь развитой и прелестный человек и как-нибудь вы это сделайте.

И вот придумал я такую хитрость, потому что вижу: красота ее погибает втуне.

Скажу, думаю, старичку, престарелому мельнику, что выселяют всех из местечка Крево... Он безусловно вынет свое добро... Тут мы и заставим его разделить.

Прихожу на завтра к ним. Сам, знаете ли, бородашку подстриг, блюзу чистую надел, являюсь прямо-таки парадным женишком.

— Сейчас,—говорю,—Викторичка, все будет исполнено.

Подхожу к мельнику.

— Так и так,—говорю,—теперь, говорю, вам как-компания, завтра выйдет приказ по случаю военных действий выселить всех жителей из местечка Крева.

Ох, как содрогнется тут мой мельник, как вскинется на постельке.

И сам, как был в нижних подштаниках—шасть за дверь и слово никому не молвил.

Вышел он на двор, а я тихохонько следом.

А дело ночное было. Луна. Каждая даже травинка виднеется. И идет он приметно, весь в белом, будто шкелет какой, а я за сарайчиком прячусь.

А немец что-то, помню, тогда постреливал. Хорошо. Идет.

Только прошел он немного, да вдруг как ойкнет.

Ойкнет и за грудь скорей.

Смотрю и кровь по белому каплет.

Ну, думаю, произошла беда—пуля.

Повернулся он, смотрю, назад, руки опустил и к дому.

Да только гляжу—пошел он как-то жутко. Ноги не гнет, сам весь в неподвижности, а поступь грузная.

Забегал я к нему, сам пугаюсь, хватя да хватя его за руку, а рука холодеет и, смотрю, в нем дыханья нет—покойник.

И незримой силой взошел он в дом, веки у него закрыты, а как на пол ступит, так пол гремит—земля к себе покойника требует.

Закричали тут в доме, раздались перед мертвецом, а он дошел поступью смертной до постельке, тут и скоился.

И такой в халупе страх настал, сидим и дыханье свое слушать жутко.

Так вот помер мельник через мене и сгнули—аминь во веки веков его деньжонки—капиталом.

А очень тут загрустила Виктория Казимировна.

Плачет она и плачет и всю неделю плачет—не сохнут слезы.

А как приду к ней—гонит и видеть меня не может.

Только прошла, запомнил, неделя, являюсь. Слез, смотрю, нету и подступает она ко мне даже любовно.

— Чего-ж,—говорит,—ты сделал, Назар Ильич? Ты, говорит, во всем виноват, ты теперь и выкручивайся.

Достань ты мне хоть с морского дна небольшой капитал, а иначе ты для меня первый преступник и уйду я, знаю куда, в обоз. Звал меня в любовницы прапорщик Лапушкин, и обещал даже золотые часики браслеткой.

Покачал я прегорько головой, дескать, откуда мне такому-то разжиться капиталом, а она вскинула на плечи трикотажный платочек, поклонилась мне низенько.

— Пойду,—говорит,—поджидает, ждет меня прапорщик Лапушкин. Прощайте, пожалуйста, Назар Ильич, господин Синебрюхов.

— Стой,—говорю,—стой, Виктория Казимировна. Дай, говорю, срок—дело это обдумать надо.

— А чего,—говорит,—его думать? Пойди да укради хоть с морского дна, только исполни мою просьбу.

И осенила тут меня мысль.

На войне, думаю, все можно. Будут может немцы наступать—пошурю по карманам, если на то пошло.

А вскоре и вышел подходящий случай.

Была у нас в окопах пушечка. Эх, дай Бог память—Гочкис заглавие.

Морская пушечка Гочкис.

Дульце у ней тонехонькое, снаряд и смотреть на него глупо, до того незначительный снаряд. А стреляет она всячески не слабо.

Стрельнет и наровит взорвать что побольше. Над ней и командир был—морской подпоручик Винча. Подпоручик нечего себе, хороший пордпоручик. Бить не бил, но под винтовку запросто ставил.

А очень мы любили эту пушечку, и завсегда ставили ее в свой окоп.

Тут, скажем, пулемет, а тут небольшое насаждение из елок—и пушечка.

Германии она очень досаждала, в люльский костел она была по кумполу, потому что был там германский наблюдатель.

По пулеметам тоже была.

И прямо немцам она не давала никакого спасения.

Так вот вышел случай.

Выкрали немцы в ночное время у ней главную часть—затвор. И притом унесли пулемёты.

И как это случилось—удивительно подумать.

Время было тихое. Я безусловно к Викторине Казимировне пошел. Часовой у пушечки вздремнул, а подчасок, сволочь такая, в дежурный взвод пошел. Там в картишки играли.

Ну, ладно. Пошел.

Только играет он в карты, выигрывает и, сучий сын, не поинтересуется посмотреть, что случилось.

А случилось: немцы пушечкин затвор подтибрили.

К утру только пошел подчасок к пушечке и зрит: лежит часовой безусловно мертвый и кругом кража.

Ох, и было же что тогда!

Морской подпоручик Винча тигрой на мене насккивает, весь дежурный взвод ставит под винтовку и

каждому велит в зубах по карте держать, а подчаску веером три карты.

А к вечеру на коне едет—волнуется генерал, ваше превосходительство.

Ничего себе, хороший генерал.

Только взглянул он на взвод и гнев его прошел. Тридцать человек, как один, в зубах по карте держат.

Усмехнулся генерал.

— Выходи,—говорит,—отборные орлы, налетай на немцев, разоряй внешнего врага.

Вышли тут, запомнил, пять человек, и я с ними.

Генерал, ваше превосходительство, восхищается нами.

— Ночью,—говорит,—летите орлы, режьте немецкую проволоку, изыскивайте хоть один немецкий пулемет, и если случится—пушечкин затвор.

Хорошо-с.

К ночи мы и пошли.

Я то играючи пошел. Мне нужно было.

Во-первых, мыслишку свою имел, а потом, жизнь свою я не берег.

Я, знаете ли, счастье вынул. Да.

В 16 году, запомнил, ходил такой черный, люди говорили, румынский мужик. С птицей он ходил. На груди у него клетка, а в клетке не попка, попка та зеленая, а тут вообще какая-то тропическая птица. Так она, сволочь, такая ученая, клювом вынимала счастье—кому что.

А мне, запомнил, планета Рак и жизнь предсказана до 90 лет.

И еще там многое, что предсказано, что я уж и позабыл, да только все исполнилось в точности.

И тут вспомнил я предсказанье и пошел прямо гуляючи.

Подожгли мы к немецкой проволоке.

Тень. Луны еще не было.

Прорезали преспокойно лаз, спустились в низ в окопчики в германские, прошли шагов с полста—пулемет пожалуйста.

Уронили мы германского часового на землю и придушили тут же.

Очень мне это было неприятно, жутковато, вообще, знаете ли, ночной кошмар.

Хорошо-с.

Сняли пулемет с катков, разобрали кому что, кому катки, кому ящики, а мне, запомнил, подсунули, мать их так, самую что ни на есть тяжесть—тело пулемета.

И такой, провались он совсем, тяжелый был, те на легке—шаг да шаг и скрылись от мене, а я пыхчу с ним, затрудняюсь.

Мне бы на верех ползти, да смотрю—проход сообщения—я туда.

А из за угла вдруг германец прездоровенный здоровенный; и на перевес у него винтовка.

Бросил я под ноги пулемет и тоже винтовку вскинул.

Только чую—германец стрельнуть хочет—голова на мушке.

Друкой оробел бы, другой ух как оробел бы, а я ничего, стою, не трепыхнусь даже.

А поверни я только спину, либо щелкни затвором; тут, безусловно, мне и конец.

Стоим друг против дружки и всего-то до нас пять шагов.

Зрим друг руга глазами и ждем, кто побежит.

И вдруг как задрожит германец, как обернется назад.

Тут я в него и стрельнул.

И вспомнил сразу свою мыслишку.

Подполз к нему, пошарил по карману—противно. Ну да ничего, перевозмог себя, вынул кобальтовой кожи бумажник, вынул часишки в футляре (немцы все в футляре часишки носят), взвалил пулемет на плечо и на верех.

Дошел до проволоки—нету лаза.

Мыслимо ли в темноте найти?

Стал я через проволоку продираться—трудно.

Может быть час или больше лез, всю порвал себе спину и руки совсем изувечил.

Да только все-таки пролез.

Вздохнул я тут спокойно, залез в траву, стал себе руки перевязывать—кровь так и льет.

И забыл совсем, чума меня возьми, что я в германской еще стороне, и уже светает.

И хотел было бежать, да тут немцы тревогу подняли, нашли, видимо, у себя беспорядки, открыли по-русским огонь и, конечно, поползи я, тут бы меня приметили и убили.

А место, смотрю, вполне открытое было и подальше даже и травы нет, а до халуп шагов триста.

Ну, думаю, каюк-компания, лежи теперь, Назар Ильич, господин Синебрюхов, благо трава скрывает.

Хорошо. Лежу.

А немцы может быть очень обиделись—мстят—стреляют почему зря.

К полдню перестали стрелять, да только смотрю, чуть кто проявится в нашей русской стороне, так они туда и метят.

Ну, значит, думаю, безусловно они-настороже и нужно лежать до вечера.

Хорошо-с.